

Владимир Фёдорович Одоевский

Сказка о мёртвом теле...



Владимир Одоевский
Сказка о мёртвом теле...

«Public Domain»

1833

Одоевский В. Ф.

Сказка о мёртвом теле... / В. Ф. Одоевский — «Public Domain», 1833

«...Три недели прошло в ожидании владельцев мертвого тела; никто не являлся, и наконец заседатель с уездным лекарем отправились к помещику села Морковкина в гости; в выморочной избе отвели квартиру приказному Севастьянычу, также прикомандированному на следствие. В той же избе, в заклету, находилось мертвое тело, которое назавтра суд собирался вскрыть и похоронить обыкновенным порядком. Ласковый помещик, для утешения Севастьяныча в его уединении, прислал ему с барского двора гуся с подливой да штоф домашней желудочной настойки...»

Владимир Одоевский

Сказка о мертвом теле...

Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех.
Рудый Панько в «Вечерах на хуторе»

По торговым селам Реженского уезда было сделано от земского суда следующее объявление:

«От Реженского земского суда объявляется, что в ведомстве его, на выгонной земле деревни Морковкиной-Наташино тож, 21-го минувшего ноября найдено неизвестно чье мертвое мужеска пола тело, одетое в серый суконный ветхий шинель; в нитяном кушаке, жилете суконном красного и отчасти зеленого цвета, в рубашке красной пестрядинной; на голове картуз из старых пестрядинных тряпиц с кожаным козырьком; от роду покойному около 43 лет, росту 2 арш. 10 вершков, волосом светло-рус, лицом бел, гладколиц, глаза серые, бороду бреет, подбородок с проседью, нос велик и несколько на сторону, телосложения слабого. По чему сим объявляется: не окажется ли оному телу бывших родственников или владельца онога тела; таковые благоволили бы уведомить от себя в село Морковкино-Наташино тож, где и следствие об оном, неизвестно кому принадлежащем теле производится; а если таковых не найдется, то и о том благоволили бы уведомить в оное же село Морковкино».

Три недели прошло в ожидании владельцев мертвого тела; никто не являлся, и наконец заседатель с уездным лекарем отправились к помещику села Морковкина в гости; в выморочной избе отвели квартиру приказному Севастьянычу, также прикомандированному на следствие. В той же избе, в заклету, находилось мертвое тело, которое назавтра суд собирался вскрыть и похоронить обыкновенным порядком. Ласковый помещик, для утешения Севастьяныча в его уединении, прислал ему с барского двора гуся с подливой да штоф домашней желудочной настойки.

Уже смеркалось. Севастьяныч, как человек аккуратный, вместо того чтоб, по обыкновению своих собратий, взобраться на полати возле только что истопленной и жарко истопленной печи, рассудил за благо заняться приготовлением бумаг к завтрашнему заседанию, по тому более уважению, что хотя от гуся остались одни кости, но только четверть штофа была опорожнена; он предварительно поправил светильню в железном ночнике, нарочито для подобных случаев хранимом старостою села Морковкина, – и потом из кожаного мешка вытащил старую замасленную тетрадку. Севастьяныч не мог на нее посмотреть без умиления: то были выписки из различных указов, касающихся до земских дел, доставшиеся ему по наследству от батюшки, блаженной памяти подьячего с приписью, – в городе Реженске за ябеды, лихоимство и непристойное поведение отставленного от должности, с таковым, впрочем, пояснением, чтобы его впредь никуда не определять и просьб от него не принимать, – за что он и пользовался уважением всего уезда. Севастьяныч невольно вспоминал, что эта тетрадка была единственный кодекс, которым руководствовался Реженский земский суд в своих действиях; что один Севастьяныч мог быть истолкователем таинственных символов этой Сивиллиной книги; что посредством ее магической силы он держал в повиновении и исправника, и заседателей и заставлял всех жителей околотка прибегать к себе за советами и наставлениями; почему он и берег ее как зеницу ока, никому не показывал и вынимал из-под спуда только в случае крайней надобности; с усмешкою он останавливался на тех страницах, где частию рукою его покойного батюшки и частию его собственною были то замазаны, то вновь написаны разные незначачие частицы, как-то: не, а, и и проч., и естественным образом Севастьянычу приходило на ум: как глупы люди и как умны он и его батюшка.

Между тем он опорожнил вторую четверть штофа и принялся за работу; но пока привычная рука его быстро выгибала крючки на бумаге, его самолюбие, возбужденное видом тетрадки, работало: он вспоминал, сколько раз он перевозил мертвые тела на границу соседнего уезда и тем избавлял своего исправника от излишних хлопот; да и вообще: составить ли определение, справки ли навести, подвести ли законы, войти ли в сношение с просителями, рапортовать ли начальству о невозможности исполнить его предписания, – везде и на все Севастьяныч; с улыбкою вспоминал он об изобретенном им средстве: всякий повальный обыск обращать в любую сторону; он вспоминал, как еще недавно таким невинным способом он спас одного своего приятеля: этот приятель сделал какое-то дельце, за которое он мог бы легко совершить некоторое не совсем приятное путешествие; учинен допрос, наряжен повальный обыск, – но при сем случае Севастьяныч надоумил спросить прежде всех одного грамотного молодца с руки его приятелю; по словам грамотного молодца написали бумагу, которую грамотный молодец, перекрестясь, подписал, а сам Севастьяныч приступил к одному обывателю, к другому, к третьему с вопросом: «И ты тоже, и ты тоже?» – да так скоро начал перебирать их, что, пока обыватели еще чесали за ухом и кланялись, приготовляясь к ответу, – он успел их переспросить всех до последнего, и грамотный молодец снова, за неумением грамоты своих товарищей, подписал, перекрестясь, их единогласное показание. С не меньшим удовольствием вспоминал Севастьяныч, как при случившемся значительном начете на исправника он успел влести в это дело человек до пятидесяти, начет разложить на всю братию, а потом всех и подвести под милостивый манифест. Словом, Севастьяныч видел, что во всех знаменитых делах Реженского земского суда он был единственным виновником, единственным выдумщиком и единственным исполнителем; что без него бы погиб заседатель, погиб исправник, погиб и уездный судья, и уездный предводитель; что им одним держится древняя слава Реженского уезда, – и невольно по душе Севастьяныча пробежало сладкое ощущение собственного достоинства. Правда, издали – как будто из облаков – мелькали ему в глаза сердитые глаза губернатора, допрашивающее лицо секретаря уголовной палаты; но он посмотрел на занесенные метелью окошки; подумал о трехстах верстах, отделяющих его от сего ужасного призрака; для увеличения бодрости выпил третью четверть штофа – и мысли его сделались гораздо веселее: ему представился его веселый реженский домик, нажитый своим умком; бутылки с наливкою на окошке между двумя бальзаминными горшками; шкап с посудой и между нею в середине на почетном месте хрустальная на фарфоровом блюде перешница; вот идет его полная белолицая Лукерья Петровна; в руках у ней сдобный крупичатый каравай; вот телка, откормленная к Святкам, смотрит на Севастьяныча; большой чайник с самоваром ему кланяется и подвигается к нему; вот теплая лежанка, а возле лежанки перина с камчатным одеялом, а под периною свернутый лоскут пестрядки, а в пестрядке белая холстинка, а в холстинке кожаный книжник, а в книжке серенькие бумажки; – тут воображение перенесло Севастьяныча в лета его юности: ему представилось его бедное житье-бытье в батюшкином доме; как часто он голодал от матушкиной скупости; как его отдали к дьячку учиться грамоте, – он от души хохотал, вспоминая, как однажды с товарищами забрался к своему учителю в сад за яблоками и напугал дьячка, который принял его за настоящего вора; как за то был высечен и в отместку оскорбил своего учителя в самую Страстную пятницу, потом представлялось ему: как наконец он обогнал всех своих сверстников и достиг до того, что читал Апостол в приходской церкви, начиная самым густым басом и кончая самым тоненьким голоском, на удивление всему городу; как исправник, заметив, что в ребенке будет прок, приписал его к земскому суду; как он начал входить в ум; оженился с своею дражайшею Лукерьей Петровной; получил чин губернского регистратора, в коем и до днесь пребывает да добра наживает; сердце его растаяло от умиления, и он на радости опорожнил и последнюю четверть обворожительного напитка. Тут пришло Севастьянычу в голову, что он не только что в приказе, но хват на все руки: как заслушиваются его, когда он под вечерок, в веселый час, примется рассказывать о Бове Королевиче, о

похождениях Ваньки Каина, о путешествии купца Коробейникова в Иерусалим, – неумолкаемые гусли, да и только! – и Севастьяныч начал мечтать: куда бы хорошо было, если бы у него была сила Бовы Королевича и он бы смог кого за руку – у того рука прочь, кого за голову – у того голова прочь; потом захотелось ему посмотреть, что за Кипрский такой остров есть, который, как описывает Коробейников, изобилен деревянным маслом и греческим мылом, где люди ездят на ослах и на верблюдах, и он стал смеяться над тамошними обывателями, которые не могут догадаться запрягать их в сани; тут начались в голове его рассуждения: он нашел, что или в книгах неправду пишут, или вообще греки должны быть народ очень глупый, потому что он сам расспрашивал у греков, приехавших на реженскую ярмарку с мылом и пряниками, и которым, кажется, должно было знать, что в их земле делается, – зачем они взяли город Троя, – как именно пишет Коробейников, – а Царьград уступили туркам, и никакого толку от этого народа не мог добиться: что за Троя такая, греки не могли ему рассказать, говоря, что, вероятно, выстроили и взяли этот город в их отсутствие; пока он занимался этим важным вопросом, пред глазами его проходили: и арабские разбойники, и Гнилое море, и процессия погребения кота, и палаты царя Фараона, внутри все вызолоченные, и птица Строфокамил, вышиною с человека, с утиною головою, с камнем в копыте...

Его размышления были прерваны следующими словами, которые кто-то проговорил подле него:

– Батюшка, Иван Севастьяныч! я к вам с покорнейшею просьбою.

Эти слова напомнили Севастьянычу его ролю приказного, и он, по обыкновению, принялся писать гораздо скорее, наклонил голову как можно ниже и, не сворачивая глаз с бумаги, отвечал протяжным голосом:

– Что вам угодно?

– Вы от суда вызываете владельцев поднятого в Морковкине мертвого тела.

– Та-ак-с.

– Так изволите видеть – это тело мое.

– Та-ак-с.

– Так нельзя ли мне сделать милость, поскорее его выдать?

– Та-ак-с.

– А уж на благодарность мою надейтесь...

– Та-ак-с. – Что же покойник-та, крепостной, что ли, ваш был?...

– Нет, Иван Севастьяныч, какой крепостной, это тело мое, собственное мое...

– Та-ак-с.

– Вы можете себе вообразить, каково мне без тела. Сделайте одолжение, помогите поскорее.

– Все можно-с, да трудновато немного скоро-то это дело сделать, – ведь оно не блин, кругом пальца не обернешь; справки надобно навести, кабы подмазать немного...

– Да уж в этом не сомневайтесь, – выдайте лишь только мое тело, а то я и пятидесяти рублей не пожалею...

При сих словах Севастьяныч поднял голову, но, не видя никого, сказал:

– Да войдите сюда, что на морозе стоять.

– Да я здесь, Иван Севастьяныч, возле вас стою.

Севастьяныч поправил лампадку, протер глаза, но, не видя ничего, пробормотал:

– Тьфу, к черту! – да что я, ослеп, что ли? – я вас не вижу, сударь.

– Ничего нет мудреного! как же вам меня видеть без тела?

– Я, право, в толк не войду вашей речи, дайте хоть взглянуть на себя.

– Извольте, я могу вам показаться на минуту... только мне это очень трудно...

И при сих словах в темном углу стало показываться какое-то лицо без образа; то явится, то опять пропадет, словно молодой человек, в первый раз приехавший на бал, – хочется ему подойти к дамам и боится, выставит лицо из толпы и опять спрячется...

– Извините-с, – между тем говорил голос, – сделайте милость, извините, вы не можете себе вообразить, как трудно без тела показываться! Сделайте милость, отдайте его мне поскорее, – говорят вам, что пятидесяти рублей не пожалею.

– Рад вам служить, сударь, но, право, в толк не возьму ваших речей... есть у вас просьба?

...

– Помилуйте, какая просьба? как мне было без тела ее написать? уж сделайте милость, вы сами потрудитесь.

– Легко сказать, сударь, потрудиться, говорят вам, что я тут ни черта не понимаю...

– Уж пишите только, – я вам буду сказывать.

Севастьяныч вынул лист гербовой бумаги.

– Скажите, сделайте милость: есть ли у вас по крайней мере чин, имя и отчество?

– Как же? Меня зовут Цвеерлей-Джон-Луи.

– Чин ваш, сударь?

– Иностранец.

И Севастьяныч написал на гербовом листе крупными словами: «В Реженский земский суд от иностранного недоросля из дворян Савелия Жалуева, объяснение».

– Что ж далее?

– Извольте только писать, я уж вам буду сказывать; пишите: имею я...

– Недвижимое имение, что ли? – спросил Севастьяныч.

– Нет-с: имею я несчастную слабость...

– К крепким напиткам, что ли? о, это весьма непохвально...

– Нет-с: имею я несчастную слабость выходить из моего тела...

– Кой черт! – вскричал Севастьяныч, кинув перо, – да вы меня морочите, сударь!

– Уверю вас, что говорю сущую правду, пишите, только знайте: пятьдесят рублей вам за одну просьбу да пятьдесят еще, когда выхлопчете дело...

И Севастьяныч снова принялся за перо.

«Сего 20 октября ехал я в кибитке, по своей надобности, по реженскому тракту, на одной подводе, и как на дворе было холодно, и дороги Реженского уезда особенно дурны...»

– Нет, уж на этом извините, – возразил Севастьяныч, – этого написать никак нельзя, это личность, а личности в просьбах помещать указами запрещено...

– По мне, пожалуй; ну, так просто: на дворе было так холодно, что я боялся заморозить свою душу, да и вообще мне так захотелось скорее приехать на ночлег... что я не утерпел... и, по своей обыкновенной привычке, выскочил из моего тела...

– Помилуйте! – вскричал Севастьяныч.

– Ничего, ничего, продолжайте; что ж делать, если такая у меня привычка... ведь в ней ничего нет противозаконного, не правда ли?

– Та-ак-с, – отвечал Севастьяныч, – что ж далее?

– Извольте писать: выскочил из моего тела, у клал его хорошенько во внутренности кибитки... чтобы оно не выпало... связал у него руки вожжами и отправился на станцию... в той надежде, что лошадь сама прибежит на знакомый двор...

– Должно признаться, – заметил Севастьяныч, – что вы в сем случае поступили очень неосмотрительно.

– Приехавши на станцию, я взлез на печку отогреть душу... и когда, по расчислению моему... лошадь должна была возвратиться на постоянный двор... я вышел ее проведать, но, однако же, во всю ту ночь ни лошадь, ни тело не возвращались... На другой день утром я поспешил на то место, где оставил кибитку... но уже и там ее не было... полагаю, что безды-

ханное тело мое от ухабов выпало из кибитки и было поднято проезжавшим исправником, а лошадь уплелась за обозами... После трех недельного тщетного искания я, уведомившись ныне о объявлении Реженского земского суда, коим вызываются владельцы найденного тела... покорнейше прошу оно мое тело мне выдать, яко законному своему владельцу... при чем присовокупляю покорнейшую просьбу, дабы благоволил вышеописанный суд сделать распоряжение... оно тело мое предварительно опустить в холодную воду, чтобы оно отошло... если же от случившегося падения есть в том часто упоминаемом теле какой-либо изъян... или оно от морозу где-либо попортилось... то оно чрез уездного лекаря приказать поправить на мой кошт и о всем том учинить, как законы повелевают, в чем и подписуюсь...

– Ну, извольте же подписывать, – сказал Севастьяныч, окончивши бумагу.

– Подписывать! легко сказать! говорят вам, что у меня теперь со мною рук нету – они остались при теле; подпишите вы за меня, что за неимением рук...

– Нет! извините, – возразил Севастьяныч, – эдакой и формы нет, а просьб, писанных не по форме, указами принимать запрещено; если вам угодно: за неумением грамоты...

– Как заблагорассудите! по мне все равно.

И Севастьяныч подписал: «К сему объяснению за неумением грамоты, по собственной просьбе просителя, губернский регистратор Иван Севастьянов сын Благосердов руку приложил».

– Чувствительнейше вам обязан, почтеннейший Иван Севастьянович! Ну, теперь вы похлопочите, чтоб это дело поскорее решили, – не можете себе вообразить, как неловко быть без тела!, а я сбегая покуда повидаться с женою... будьте уверены, что я уже вас не обижу...

– Пойдите, пойдите, ваше благородие! – вскричал Севастьяныч, – в просьбе противоречие... Как же вы без рук уклались... или уклали в кибитке свое тело?... Тьфу к черту, ничего не понимаю.

Но ответа не было. Севастьяныч прочел еще раз просьбу, начал над нею думать, думал, думал...

Когда он проснулся, ночник погас и утренний свет пробивался сквозь обтянутое пузырем окошко. С досадою взглянул он на пустой штоф, пред ним стоявший... эта досада выбила у него из головы ночное происшествие; он забрал свои бумаги не посмотрев и отправился на барский двор в надежде там опохмелиться.

Заседатель, выпив рюмку водки, принялся разбирать Севастьянычевы бумаги и напал на просьбу иностранного недоросля из дворян...

– Ну, брат Севастьяныч, – вскричал он, прочитав ее, – ты вчера на сон грядущий порядком подтянул; экую околесную нагородил... Послушайте-ка, Андрей Игнатьевич, – прибавил он, обращаясь к уездному лекарю, – вот нам какого просителя Севастьяныч предоставил. – И он прочел уездному лекарю курьезную просьбу от слова до слова, помирая со смеху.

– Пойдемте-ка, господа, – сказал он наконец, – вскрыемте это болтливое тело, да если оно не отзовется, так и похороним его подобру-поздорову, в город пора.

Эти слова напомнили Севастьянычу ночное происшествие, и как оно ни странно ему казалось, но он вспомнил о пятидесяти рублях, обещанных ему просителем, если он выхлопочет ему тело, и сурьезно стал требовать от заседателя и лекаря, чтоб тело не вскрывать, потому что этим можно его перепортить, так что оно уже никуда не будет годиться, а просьбу записать во входящий обыкновенным порядком.

Само собою разумеется, что на это требование Севастьянычу отвечали советами протрезвиться, тело вскрыли, ничего в нем не нашли и похоронили.

После сего происшествия мертвецова просьба стала ходить по рукам; везде ее списывали, дополняли, украшали, читали, и долго реженские старушки крестились от ужаса, ее слушая.

Предание не сохранило окончания сего необыкновенного происшествия: в одном соседнем уезде рассказывали, что в то самое время, когда лекарь дотронулся до тела своим бисту-

рием, владелец вскочил в тело, тело поднялось, побежало и что за ним Севастьяныч долго гнался по деревне, крича изо всех сил: «Лови, лови покойника!»

В другом же уезде утверждают, что владелец и до сих пор каждое утро и вечер приходит к Севастьянычу, говоря: «Батюшка Иван Севастьяныч, что ж мое тело? когда вы мне его выдадите?» – и что Севастьяныч, не теряя бодрости, отвечает: «А вот собираются справки». Тому прошло уже лет двадцать.